Смаил-ага[1] слуг сзывает
В укрепленьи сильном, в Стольце,
В глубине Герцеговины:
«Гей! скорее выводите
Бёрдян, мною полоненных
На студеной на Мораче.[2]
Пусть придет сюда и Дурак,
Что советовал мне, шельма,
Всех их выпустить из плена.
Влахи[3] люты, говорил он,
И отмстят мне, будто, смертью
За погибель этих пленных:
Будто хищный волк боится
Исхудалой горной мыши!»
Побежали тотчас слуги
И плененных притащили.
На ногах у них оковы,
На руках большие цепи.
Увидав их, грозный ага
Подал знак волам тяжелым —
И волам и хищным рысям —
Палачам — и всех плененных
По-турецки награждает:
Острый кол дарит юнакам,
Или кол, или веревку,
Или саблю назначает.
«Вы дары мои по-братски
Разделите меж собою!
Их про вас я, турок, приготовил,
И про вас, и про свободных бёрдян:
Что для вас, то и для целой Берды.»

Ага подал знак... но трудно ль
Для бойца за христианство
Умирать за крест, за веру?
Скрипнул кол, вонзаясь в мясо,
Свистнул нож, палаш турецкий,
Задрожал и зашатался
Перемет между столбами,
А не слышно воплей черногорцев:
Хоть бы писк! хоть зуб заскрежетал бы!
По поляне кровь уже бежала —
Хоть бы писк! хоть зуб заскрежетал бы!
Уж все поле трупами покрылось —
Хоть бы писк! хоть зуб заскрежетал бы!
Лишь иной из них воскликнет: «Боже!»
А другой прошепчет: «Иисусе!»
Так легко навек прощались со светом
Умирать привыкшие герои.
Кровь бежит рекою по поляне.
Молодежь турецкая глазеет
С любопытством, с тихим наслажденьем
На мученья христиан поганых;
Старики же смотрят молча,
Потому что ожидают
И себе такой же мести
От руки проклятых влахов.

Мрачно смотрит лютый ага:
Удивляется невольно
Лев могучий горной мыши.
Отомстить юнаку невозможно,
Если он не поддается страху.
Погубил юнаков стольких ага;
Гибла плоть, но дух был бодр — не падал:
Все они пред ним без страха пали.
Берегись того, кто может
Без тревоги свет оставить.

Видит ага эту силу
И в груди уж чует холод;
Словно жало ледяное
Ледяным концом вонзилось
В душу аги-господаря.
Не от жалости ль к юнакам,
Так напрасно умерщвленным?
Турок жалости не знает
К христианам. Не от страха ль?
Не за голову ль боится?
То в душе его таится.
Иль не видишь, как желает
Храбрый воин пересилить
Холод, от малейшей раны
Пробегающий по телу?
Посмотри, как гордо к небу
Голова его подъята,
И чело светло, и око
Так и искрится; взгляни лишь
Хоть на эту крепость тела:
Зная силу за собою,
Как оно спокойно страждет —
И тогда скажи, ну есть ли
В нем хоть легкий признак страха?
А теперь послушай речи
Аги к целому собранью;
Как он трусов укоряет:
«Дурак, ты старик безмозглый,
Что теперь? куда ты хочешь?
Нет мышей ведь горных больше.
В горы? там ведь много бердян;
В поле? спустятся и в поле.
Не уйти тебе от них живому!
Лучше б было к облакам подняться:
Мышь грызет, но на земле вертится;
Лишь орел под небеса стремится...
И его на виселицу эту:
Пусть узнает он за трусость плату.
Если где еще найдется турок,
Что боится этих жалких влахов,
Так и он поднимется туда же,
На добычу вороньям голодным.»

Молча рабская прислуга
Исполняет приказанье
И свою добычу тащит.
«Аман, аман!»[4] просит старец,
И Новица, сын Дурака,
Тоже молит о пощаде:
«Аман, аман!» восклицает.
Ага смотрит лютым зверем
И стоит как столп, как камень.
Лишь рукою знак он подал —
Старика как не бывало.
Лишь «медет!» старик промолвил,
Уж палач накинул петлю:
Дурак вскрикнул — все замолкло.

Солнце скрылось, месяц показался.
Но кто там в ущелье из ущелья
Крадется на запад — к Черногорью?
В ночь бредет и днем лишь отдыхает.
Он юнаком бравым был когда-то,
А теперь уж не юнак он больше,
А тростник от ветерка дрожащий.
Бросится ль змея с его дороги,
Или заяц из травы высокой —
Он, когда-то бывший злее змея,
Струсит чуть ли не побольше зайца —

И, бедняжка, думает, что волка
Повстречал, иль — что еще опасней —
Что набрел на бердского гайдука.
Он боится, что как раз погибнет,
Прежде чем до цели он достигнет.

То гайдук, или шпион турецкий,
Что следит за стадом мягкорунных,
Иль волов тяжелых, виторогих?
Не гайдук он, не шпион турецкий,
Он кавас надежный Ченгич-аги,
Злой Новица, ворог Черногорья,
Старому и малому известный.
И его не пронесли бы Вилы,
А тем меньше собственные ноги,
В Черногорье при сияньи солнца.
На плече его висит винтовка,
Ятаган за поясом засунут,
С ятаганом пара пистолетов.
Этих гадов принакрыл он струкой.[5]
На ногах его одни опанки,[6]
На юнацкой голове лишь феска;
О чалме нет даже и помину —
Без чалмы плетется бедный турок.
Он должно быть умереть боится:
Знать, есть цель, к которой он стремится.

Он оставил Цуцы за собою,
Пробрался чрез храбрые Белицы
И подходит уж к Чекличам горным —
К ним подходит, а сам Бога молит,
Чтоб помог Он миновать и этих
Тайно, тихо, никому не зримо.
Умереть, как видно, он боится:
Знать, есть цель, к которой он стремится.

Лишь вторые петухи пропели
На Цетинском поле — уж Новица
Красовался на поле Цетинском;
А пропели третьи на Цетинье,
Уж стоит Новица у Цетинья,
И с приветом к страже приступает:
«Бог на помочь, стража!» говорит он,
А цетинский стражник отвечает:
«Здравствуй, добрый молодец! зачем ты?
Ты откуда, из какого края?
Что за нужда к нам тебя загнала?
Что пришел так рано ты в Цетинью?»
Хитрый турок — хоть ему неловко —
Хитрый турок ловко отвечает:
«Я тебе скажу всю правду, стражник!
Знай: юнак со студеной я Морачи,
Из Тисины, небольшой деревни
У подошвы Дормитора — знаешь?
У меня есть на сердце три горя:
Первое, что гложет это сердце,
То, что Ченгич погубил морачан,
А другое, что мне гложет сердце,
То, что Ченгич погубил злодейски
Моего родителя, а третье,
Что так больно сердце это гложет,
Горе всех других страшнее, глубже —
То, что лютый враг мой еще дышит.
Ну, так ради Бога, умоляю,
Допусти меня ты к господарю
Твоему и моему с тем вместе:
Может быть, он в горе мне поможет.
Страж ему на это отвечает:
«Скинь сперва, юнак, свое оружье,

И ступай куда тебе угодно.»
Входит он во двор через ворота —
И звезда, померкшая последней
В небесах — была звезда Ченгича.

Поднялась чета-дружина
На Цетинье в Черногорье,
Не велика, но отважна:
В ней всего-то сто юнаков,
И юнаков не отборных
По наружности, по виду,
Но по храбрости геройской.
Каждый рад из них ударить
На двоих, зато наверно,
А не на десять, чтоб после
Отступить, бежать с позором.
Все они погибнуть рады
За священный крест, которым
Знаменать себя привыкли,
И за крест, и за свободу.
Удивительное дело!
Та чета не собиралась,
Как сбираются другие,
И не слышалось, как прежде:
«Кто юнак, вперед, в ущелье!»
Кто юнак, вперед, в ущелье!
Эхо гор не повторяло.
Словно глас духов неясный,
Словно говор бестелесных
Разносился Черногорьем
От скалы к скале, и — диво —
Во мраке чудилось, что дышит
Жизнью даже мертвый камень,
Что дрожит, ползет и вверху
Даже голову вздымает,
Из скалы недвижной кажет
Он могучую десницу,
Ногу крепкую; сказал бы,
Что в его холодных жилах
Кровь кипит и бьет потоком.

Видишь длинную винтовку
Вверх направленную дулом;
Что же в поясе хранится,
То от всех скрывает струка,
И того чужие очи
Не увидят. Тьма густая
Закрывает тайны ночи;
Голос водит всех — не очи.

Час глухой и темной ночи...
Светлых звезд не видно в тучах,
Ни блестящего оружья
В тьме ночной под грубой струкой.
Так идет чета ночная;
Перед ней юнак бесстрашный:
В тихом шепоте друг другу
Каждый звал юнака Мирком.

Так идет чета! Куда же?
Тщетно ты ее спросил бы.
Тщетно спрашивал бы молньи,
Тщетно спрашивал бы громы,
Далеко ль они несутся?
Все на это отзовутся:
Знает то лишь Громовержец,
Тот, Кому миры подвластны.

Так идет чета! Куда же?

Знает только Он, Всевышний.
Верно, тот великий грешник,
На кого Он насылает
Эту силу со звездной выси,
Суд своей предвечной правды.

Тихо, глухо все ступают
В этой тьме глухой и тихой.
Говор, шепот, смех и песня
Там не слышались; из сотни
Голосов не слышен голос.
Словно туча градовая,
Страшный бич в себе скрывая,
Приближается неслышно,
Угрожая горем краю,
Над которым вдруг нависнет:
Так и храбрая дружина,
Под покровом темной ночи,
Походила на десницу Божью;
Тихо шла, чтоб преступленье знало,
Что оно еще не безопасно,
Если гром не вдруг ударит с неба;
Чем позднее, тем он бьет сильнее.

Не звучит нигде оружье,
Не звенит и ствол ружейный,
Не звучат литые токи[7]
При походке тихой, легкой;
Словно зная кто ступает,
Под опанками юнаков
Шумно зыблется стремнина,
Опускается пригорок.
Все друг с другом ровно идут,
Неразлучно, верно, твердо,
Словно близнецы светила
По закате тихом солнца.
Вот уж Комляне, Загорач,
Белопавличи — все были
Далеко за ними, к Ровцам
Каменистым уж подходят;
А за Ровцами к рассвету
Прибыла чета к Мораче,
К той Мораче, от которой
Целый край названье принял.
Храбрая чета на дневку
Избрала Морачский берег.
Кто, склонившися к росистым
Травам, сном желает силы
Подкрепить, другой же смотрит
На замок ружейный, или
Счет ведет своим зарядам,
Или нож булатный точит;
Кто, добыв огнивом искру
И под сушь огонь засунув,
Богатырским дуновеньем
Быстро пламя раздувает;
А иной, взяв часть барана,
Дар незлобивого стада,
Жарил весело на пруте
Из орешника; другой же
Из своей походной сумки
Доставал кусочек сыру.
Пить захочет? вот Морача возле.
Чашу нужно? есть на это руки.

Вот и день уж наступает,
И уж слышится в соседстве
Голос пастыря, который
Гонит стадо; колокольчик

На вожде-баране громко
Вторит пастырской свирели.

Рядом с ним другой смиренный пастырь
Шел навстречу собственному стаду.
Не украшен он сребром и златом,
Он украшен доблестью во взоре,
И в простую мантию одеян;
Нет за ним проводников блестящих,
Нет ни свеч, ни факелов зажженных,
И не слышно звона с колокольни;
Светит только на закате солнце,
Да звенит бубенчик на баране.
Храм его — безоблачное небо,
А алтарь — утесы и долины,
Фимиам — лугов благоуханье,
Что горе возносится на небо
От цветов, растущих без призора,
От цветов и крови христианской,
Пролитой за честный Крест, за Веру.
Подойдя к чете, служитель верный
Своего небесного Владыки
Говорит юнакам: «Бог на помощь!»
И на камень старец становится,
И ведет такую речь к собранью:
«Чада, чада верные отчизны!
Вот земля, в которой вы родились;
Хоть она скалиста, но бесценна.
Деды ваши родилися здесь же,
И отцы у вас родились здесь же,
Да и сами вы родились здесь же:
Нет земли для вас на свете лучше.
За нее кровь лили ваши деды,
И отцы кровь лили за нее же,
За нее вы льете кровь и сами:
Нет земли для вас дороже в свете.
И орлы вьют гнезда на вершине:
Не найти свободы на равнине!

«Вы, которые привыкли
Жить умеренно и трезво,
Не заботитесь, дают ли
Виноградный сок утесы,
Не заботитесь, дают ли
Вдоволь хлеба ваши скалы,
Не заботитесь, дают ли
Ваши горы шелк, покуда
Есть вода в ручьях холодных
И мычат волы в долинах,
Да блеют в ущельях овцы!

«Порох есть, да и свинцу довольно,
И сильна десница у юнака,
И соколье око под ресницей;
А в груди кипит-стучится сердце,
И тверда, неколебима вера;
Побратим за побратимом смотрит,
Верный муж любим супругой верной..
Нет оружья? — турок вам приносит —
Вот и все, что сердце ваше просит.

«Но всего прекрасней в этих скалах
Это крест, воздвигнутый над ними.
Он один вас в горе укрепляет,
Он один вам открывает небо.
Если б все народы остальные
Из своих равнин необозримых
Этот крест всесильный увидали,
Крест никем еще не побежденный,

Что стоит на Ловчене высоком,
Возносясь к сияющему небу;
Если б все народы эти знали,
Как его хотел нечистый турок
Поглотить своею алчной пастью,
Тщетно зуб ломая здесь о скалы:
О! они, сложив спокойно руки,
Не смотрели б так на ваши муки;
И за то, что вы же умирали,
Сторожа их мирный сон — едва ли
Вас они за диких бы считали!

«Вы за крест тот умереть готовы,
Свято гнев небесный исполняя.
Кто ж идет служить всем сердцем Богу,
Тот Ему служить всем сердцем должен;
Чьей души ничто уж не тревожит —
Суд небес лишь тот исполнить может.

«Кто из вас обидел словом брата;
Кто убил слабейшего на схватке,
Осквернив поступком этим душу;
Затворил перед прохожим двери;
Не сдержал лукаво обещанье;
Отказал голодному в трапезе;
Не призрел израненного брата:
Вот дела греха и осужденья!
Лишь в одном раскаяньи прощенье.

«Кайтеся, пока еще есть время!
Кайтеся — еще не поздно, дети!
Кайтеся, покуда ваши души
Не стоят перед престолом Божьим!
Кайтеся: теченье этой жизни
Незаметно движется к закату.
Кайтесь, кайтесь: может быть денница
Многих вас уже не встретит завтра.
Кайтесь же!» Но в горле старца
Речь уже остановилась,
И на бороду упала
Горяча слеза, блистая
Словно жемчуг в блеске солнца.
Может быть, он вспомнил время
Юных лет, не без укора
Проведенных им, и, язвы
В юном стаде исцеляя,
Боль почуял в старых ранах.
Добрый пастырь! — прав он в слове смелом:
У него не спорит слово с делом.

И растроганные доброй
Речью праведного старца,
Все в безмолвии стояли;
Агнцы кроткие вдруг стали
Из могучих львов тех! Чудо!
Так всесильно Божье слово всюду.

Но кто он, представший грозно
Пред четой, теперь смиренной,
И заставивший схватиться
Сотню рук за ятаганы?
Непонятное явленье!
Сто сердец в одно мгновенье
Отвратил он вновь от неба,
И к чему стремилась сотня
Самых пламенных желаний —
Он разрушил, уничтожил!
То заклятый враг, Новица,
То Новица — весь свобода —

Подойдя к святому месту,
Приступает ближе к старцу
И свой голос возвышает:

«Ради Бога, братья черногорцы,
Не хватайтесь за свое оружье!
Я Новица, но уже не прежний —
Не на вас иду, иду я с вами,
Чтоб в крови турецкой вымыть руки.
Все что прежде я имел у турок,
У меня все отнял лютый турок;
У меня осталась лишь десница,
Да и та принадлежит отныне
Уж не мне, а братьям черногорцам.
Люб юнак крещеный христианам —
Так скорей меня крестите, братья!
Час настал: не в силах больше ждать я!»

Сто десниц при этом слове
Мигом бросили оружье,
И сто глаз сквозь слезы видят
Только радугу — не солнце.
Старец подал знак — и мигом
Уж несут с водою чашу.
«Веруй, чадо, в Трисвятого Бога,
Вседержителя, Отца и Сына
И Святого Духа! веруй, сын мой.
Веруй, веруй, и спасет тя вера!»
И сказав то, старец вылил воду
На главу неверного... Лишь горы,
Да внизу их дети, черногорцы,
Были там свидетелями тайны.
И потом, подъявши к небу очи,
Кроткие, незлобивые очи,
И сухие руки, старец пастырь
Отпустил юнакам согрешенья
И смиренно приобщил их Богу:
Каждому юнаку дал частицу
Тайной пищи, неземного хлеба;
Каждому юнаку дал по капле
Тайного небесного напитка.
Смотрит солнце на такое диво:
Слабый старец подкрепляет слабых
Для того, чтобы земная сила
Божьей воле правдой послужила.

И когда им старец подал силы —
Все поцеловались до едина.
И стоит, исполнена Всевышним,
Та чета, уж не как нож кровавый,
Наносящий смерть своим ударом —
Как перо святое, золотое:
Им же небо пишет для потомства
Подвиги отцов и дедов. Солнце
За горой далекой потухало.
Тихо в церковь шел старик убогой,
И дружина шла своей дорогой.

Поле Гацкое[8] родное,
Как бы ты привольно было,
Если б с голодом не зналось,
С злой неволей не встречалось!
На тебе сегодня пир кровавый,
Палачи повсюду, да оружье,
Боевые кони, да палатки,
Тяжкие оковы, да фелеки.[9]
Что же там за палачи такие?
Для чего там светлое оружье?
Что за кони? и зачем шатры там,

Тяжкие оковы и фелеки?
Смаил-ага там сбирает подать
И на Гацком поле и за Гацком.
Середь поля он шатры раскинул,
Разослал он сборщиков удалых,
Сборщиков — заели бы их волки!
Хочет он с души взять по дукату,
Со двора по жирному барану
И добыть себе красотку на ночь.

Едут турки-сборщики с востока,
За собой ведут нагую раю;
Показались сборщики с заката,
За собой ведут нагую раю;
Едут, змеи, с севера и юга,
За собой ведут нагую раю.
По следам коней ступает рая;
Связаны у рай бедной руки,
За спиною связаны веревкой.
Боже, в чем же рая провинилась?
В том ли, что нужда подъела турок?
В том ли, что их нечисть одолела?
Провинилась — в чем же? В том, что дышит,
А не может, по желанью турка,
Дань давать ни золотом, ни хлебом.

Пред шатрами Ченгич-ага
На коне лихом кружится
И копье далеко мечет,
Упражняя зоркий глаз свой
И могучую десницу.
То обгонит всадника на скачке,
То метнет копье свое всех дальше.
Да, он мог бы добрым быть юнаком,
Если б был он добрым человеком!
Но увидевши добычу,
Ту, что сборщики тащили,
Он стрелою к ним помчался
На коне и замахнулся
На бегу копьем-джилитом.
Вот, копье поднявши кверху,
Он прицелился во влаха;
Но, видать, и у юнака
Изменить десница может.
Так и здесь случилось с агой.
Легкий конь его споткнулся,
И копье хоть засвистело,
Но в своем кривом полете
Вместо агнца поразило волка,
И Сафер у, что привел тех влахов,
Прямо в глаз оно вонзилось. Выпал
Глаз с копьем на мураву, а турок
Облился своею черной кровью.
Зашипел он ядовитым змеем.
Вспыхнул Ченгич-ага, словно пламень.
Просто срам подобному юнаку
Дань сбирать и не собрать той дани,
В цель копье свое метать и цели
Не достигнуть: вместо бедной рай,
Выбить глаз у преданного турка,
Словно на смех злобным христианам!
Вспыхнул Ченгич-ага, словно пламень:
Боже, что ж отныне будет с влахом,
Если влах и прежде не был правым!
«Гей, Гассан, Омер, Яшар, скорее,
На коней скорее, вы, собаки!
Пронеситесь вы широким полем:
Поглядим, как бегают те влахи!»
Заревел он как сердитый буйвол.

Вняли слуги грозному приказу,
Понеслись лихие кони полем,
Крики слуг с коней лихих несутся,
Топот конский слышен под слугами,
Вопли рай слышны за конями.
В первую минуту, как посмотришь,
Рая носится быстрей, чем кони;
Во вторую разобрать уж трудно:
Кони ль, рая ль бегает быстрее;
В третью — кони наперед несутся,
Отстает измученная рая —
Миг — и рая падает на землю,
И волочат кони раю
По грязи, в пыли, по камням,
Словно Гектора под Троей,
Лишь забыли боги Трою.
Турки смотрят на ристанье
И тем зрелищем ужасным
Услаждают чувство зренья,
Насыщают жажду крови —
Влашской крови, мукой влахов.
Иногда, развеселившись,
Дружный хохот подымали,
Увидав, как эта рая,
Эти псы вдруг падали на землю.
Так могли лишь демоны смеяться,
Видя муки грешников в геенне.
Не устали злые турки;
Утомились только кони,
Той живою бороною
Заборанивая поле,
Утомились — спотыкались.

«Гей, вы слуги! вскрикнул лютый ага:
Полно ездить — умирает рая;
Так скорей мне раю воскресите,
Чтоб моя добыча уцелела!»
Злые слуги злейшего владыки
Соскочили все с коней на землю
И, держа в руках бичи тройные,
Бросились на чуть живую раю,
Чтоб пришли в себя собаки-влахи.
Свищет бич в руке проворной,
Рассекая мертвый воздух:
Плоть грызет тройное жало,
Источая токи крови.
Если ж бич порою оплошает,
То на теле страшную картину
Черно-синих лютых змей напишет,
А под ними жертва еле дышит.

«Ну, вставай скорее, рая!
Эй, вы на ноги, собаки!»
Раздаются крики турок.
Рая в страхе собирает
Угасающие силы:
Кто сильнее, потихоньку
Привстает и становится
На израненные ноги.
Кто слабее, тот как будто
Сквозь свой сон тяжелый, вечный,
Слыша страшные проклятья,
Чуя боль от злого жала,
Удержать в себе желает
Отлетающую душу —
И ползет на четвереньках.
Не один, как видно, голос трубный
Пробудить от сна усопших может
В день суда последнего, но даже

Бич тройной способен вызвать к жизни.

Лишь с шатрами поравнялась
Рая, кровью облитая —
Ага страшный, словно призрак,
Зарычал пред бедной раей:
«Подавай мне подать, рая!
Подать, или худо будет!»

Вседержитель птицам отдал воздух,
Дупла дал, спокойные дал гнезда;
Рыбам воду, глубины морские,
Светлые, кристальные чертоги;
Зверю дал леса, крутые горы,
Тень пещер и шелк лугов зеленых;
Бедной рае не дал корки хлеба,
Чтоб ее слезами оросила.
Нет! и ей он дал удел отрадный,
Да все отнял турок кровожадный!

«Подать, подать! о Где взять рае подать?
Где взять злата, если нет и крова,
Под которым голову склонила б?
Где взять злата, если нет и поля,
Лишь чужое потом орошаешь?
Где взять злата, если нет и стада,
На скалах же лишь пасешь чужое?
Где взять злата, если нет одежды?
Где взять злата, если нет и хлеба?

— «Голод, холод, господарю!
Подожди пять-шесть денечков —
Соберем мы Христа ради!»
— «Подать, подать подавайте!»
— «Хлеба, хлеба, господарю!
Мы давно уже без хлеба!»
— «Погодите, псы, лишь только
Ночь с небес сойдет на землю,
Будет мясо вместо хлеба!
Гей, ребята! эти влахи босы,
Так подкуйте их, чтоб им издохнуть!»

Отвечал он и вошел в шатер свой.
Тотчас слуги бросилися к рае,
И при этом одноглазый Сафер
Веселее всех засуетился:
В общей пущей радости он хочет
Выместить на рае глаз пропавший.
То раздастся скрип фелеков,
То рыкание Сафера:
«Подать, подать подавайте!»
То ответ несчастной рай:
— «Хлеба, хлеба, господарю!
Мы давно уже без хлеба!»
— «Погодите, псы, лишь только
Ночь с небес сойдет на землю,
Будет мясо вместо хлеба!»
Повторял злодей слова злодея.

Но опишет ли кто верно
Эти тяжкие страданья?
Да и кто же равнодушно
Мог бы слушать эту повесть?

Минул день, сошел на землю сумрак,
А за ним и ночь сошла на землю.
Небеса усеялись звездами,
Только запад был еще во мраке;
Полумесяц шел по полунебу,

Освещая грустную картину.

Средь пустого поля липа
Вековечная стояла,
Окруженная шатрами.
Между ними наилучший,
Наилучший, наибольший,
Возвышавшийся над всеми,
Был шатер Ченгич-аги,
Словно белый стройный лебедь
В голубиной белой стае.
В тихом, кротком лунном свете
Ставки белые белелись,
Как могилы в грудах снега,
Над которыми в полуночь
Грозно вьются злые духи
И прохожего ночного
Привиденьями пугают
Или ухо оглушают
Лаем псов, рыканьем львов нагорных,
Воплем душ страдающих за гробом.

Мнилось, здесь лежит кладбище
Славных праотцев славянских,
Тех славян, которых слава
Разносилася далеко,
И вокруг которых турок
Извивался днем и ночью,
Долго голову ломая,
Чем и как задать бы страху,
Чтоб несчастные потомки
Славных предков в злой неволе
Молча ждали лучшей доли!

Слышно лишь, как львом рыкает турок,
Или псом голодным завывает.
Слышны лишь стенания страдальцев,
Крики их, мучительные вздохи,
Страшный звук оков, цепей тяжелых,
И за ним мольбы, призыв на помощь...
Слушай, брат, ужели вопли — призрак?
Слушай, брат... да нет, не призрак это...
Вижу я, как тяжело ты дышишь...
Плачешь ты? о, нет, не призрак это:
Ведь бы ты пред призраком не плакал.

Разведен огонь перед шатрами,
И вокруг его мелькают турки.
Тот в огонь подкладывает хворост;
Тот, надувшись точно мех кузнечный,
Понемногу раздувает пламя;
Тот сидит, поджавши ноги, возле,
Над огнем вертя баранье мясо;
На углях шипит баранье мясо —
И огонь его как будто лижет,
Освещая пот, который градом
По лицу из-под чалмы струился.
И когда баран уж был изжарен,
Он был тотчас снят с тяжелой жерди,
Целиком на длинный стол навален
И ножом огромным весь рассечен.
Тут орда турецкая к трапезе
Подошла, как будто волчья стая,
И руками стала рвать добычу.
Первым был меж ними Ченгич-ага,
А за ним Баук и остальные:
Звери так кидаются на падаль.
Захватив и ракии, и хлеба,
Стала есть орда та мясо с хлебом

И притом не забывала жажду
Заливать палящей, жгучей водкой.
Утолив свой голод и удвоив
Злость свою палящей, жгучей водкой,
Как огонь вдруг вспыхнул Ченгич-ага:
Просто срам подобному юнаку
Дань сбирать и не собрать той дани,
В цель копьё свое метать и цели
Не достичь, а вместо жалкой рай,
Выбить глаз у преданного турка,
Словно на смех злобным христианам.
Как огонь вдруг вспыхнул Ченгич-ага,
И сказал слугам: «Довольно мяса!
Кости вы голодной рае бросьте,
Кости лишь, а мясо приберите:
Как скажу, так чтоб готово было.»
Проревел он и ушел в палатку.
Тотчас слуги бросили свой ужин
И пошли готовить все к веселью:
Крепкие веревки и солому,
Чтобы раю обкурить порядком,
Привязав ее к кудрявой липе,
Головою вниз, ногами кверху;
Обкурить, чтоб тотчас выжать злато
Из несчастной, неодетой рай,
У которой не было и хлеба.
Что же рая?... что же рае делать?
Мать земля жестка, далеко небо;
Плачет сердцем, видя что с ней будет,
Плачет сердцем, хоть не плачут очи.
И когда все было уж готово,
Ждали, не могли дождаться слуги,
Всех же больше одноглазый Сафер,
Скоро ли им крикнет Ченгич-ага:
«Ну, теперь и с липовым народом[10]
Нам пора, ребята, рассчитаться,
Уж пора его на липу вздернуть!»

Меж тем ага сидел в палатке;
С ним — Баук лукавый, воевода,
Мустафа, его советник верный,
И другие старшие из турок.
На полу ковры повсюду
Разноцветные лежали,
И на них везде подушки
Предлагали телу негу,
Негу сладкую и отдых.
А в углу на огоньке трещала
Только что отсеченная ветка,
И трещала, словно песню пела,
Пела с плачем, плакала с припевом.
А в середине, на высокой жерди,
Около которой расстилалась
Гордая палатка Ченгич-аги,
Пышное оружие блестело:
Ружья и холодное оружье.
Там клинки дамасские сияли
Сотни раз точившие из влахов,
Из собак нечистых, кровь ручьями;
Возле них виднелись ятаганы
И ножи булатные без счета;
Много там и длинных ружей было,
С золотой изящною насечкой
И без счета ценных пистолетов.
Но что там склонилось к шестоперу?
Никогда невиданное диво!
Возле волка агнец непорочный,
Рядом с змеем — призрачная вила!
То склонились гусли к шестоперу!

Видишь их, мой брат? но не пугайся:
Шестопер те гусли не расщепит,
Струны их не превратит в вериги,
А смычок невинный в лук ужасный
И в коня удалого кобылку.
Знай, славянки-вилы не боятся
Шума битв и грохота оружья:
Где молчит винтовка боевая,
Там молчит и песня удалая!
Небо, чистое в то время,
Все оделось черной мглою.
И когда бы кто сквозь тучи
Мог смотреть, то увидал бы
Как дрожали там плеяды,
Эти маленькие звезды,
Над палаткой Ченгич-аги,
И как месяц виторогий
Выступал перед звездами,
Как баран-вожак пред стадом.
Ночь глухая наступила,
Не слыхать нигде ни звука,
Лишь роса спускалась тихо
На цветы, как слезы неба.
Страшный мрак, сгущавшийся все больше,
Так одел и горы и долины,
Что руки нельзя увидеть было,
А куда уж разглядеть тропинку!
Горе тем, кого в дороге
Ночь такая заставала,
Если нет вблизи привала.

Расходился, разыгрался ветер,
Засверкала молния, бичуя
Воздух, землю пламенем небесным.
То пред взором свет невыносимый,
То опять оденется все тьмою —
Тьмою большей чем казалось прежде.
Вот и гром послышался внезапный,
Гром глухой, гремевший в отдаленьи.
Вот все ближе, громче и страшнее
Отдается грохот по ущельям.
Гул глухой идет горе и долу;
По долам, ущельям слышно эхо:
Быть беде, не обойтись без бури!
Горе тем, кого в дороге
Ночь такая заставала,
Если нет вблизи привала!

Если б ты спиною к ветру
Стал в тот миг, как молния блеснула,
И внимательно взглянул бы
Прямо по ветру в равнину —
Увидал бы там толпу народа:
Вместе все, лишь мрак их разделяет.
То гроза покажет им дорогу,
То вдруг тьма опять ее отнимет;
Но они походкой легкой
Ближе все подходят к стану.
Ночь черна! хотят чрез тьму продраться,
Чтоб скорей к ночлегу лишь добраться.
Но вот снова молния блеснула,
И людей вблизи уж осветила —
И теперь нетрудно было видеть,
Кто их вождь и кто идет с ним рядом.
Знать, один из них глаза дружины,
А другой надежный их вожатый;
Знает он все долы и все горы
И во тьме ведет свою дружину.
Посмотри, как он легко ступает,

Словно ветер мчит его в пространстве.
Что ж его влечет? чего послушно
По его следам еще проходят
Двести ног? Быть может, темной ночи
Он боится, любит сон и негу
И теперь торопится к ночлегу?

Блеск грозы, мелькнувший в ту минуту,
Указал дружину за шатрами,
Как она в три ряда становилась,
На три части храбрая делилась.
И стоит чета ночная,
Словно туча громовая,
Или лава, что несется
С гор высоких и ключом кипящим
Льется с ревом на головы спящим.

Вот чета прислушиваться стала:
Разузнать ей хочется где ага.
Долетают до нее уж крики:
То Сафер с достойною дружиной
Наперед бесстыдно издевался
Над страданьем горемычной рай.
А в палатке ага восседает,
Курит он и тянет черный кофе.
Ясное чело Ченгича
Было в этот миг в морщинах,
Быстрый взор его как будто
Был подернут мрачной тучей.
Он хранит глубокое молчанье;
В голове его кружатся мысли
О красе девичьей, об оружье,
О своей охоте соколиной,
О войне, о золотых дукатах,
О кровавых казнях, черногорцах,
О метаньи в цель копьем-джилитом.
Снова вспыхнул ага, словно пламень:
Просто срам подобному юнаку
Дань сбирать и не собрать той дани,
В цель копье свое метать и цели
Не достичь, а вместо жалкой рай,
Выбить глаз у преданного турка,
Словно смех злобным христианам.
Как огонь вдруг вспыхнул Ченгич-ага;
Но когда ага заметил гусли,
На столбе висевшие с оружьем,
Бешенство в крови его утихло,
Усладилась горечь черной крови,
Словно он гармонией небесной
Тронут был; и жажда крови в аге
Превратилась в жажду песни —
Так могуча сладость звуков!

Говорит Бауку Ченгич-ага:
«Гей, Баук, почтенный воевода!
Удальство твое, я слышал, хвалят;
Ну, а что, когда б на нас напали
Эти мыши горные нежданно,
Сколько б их один ты искалечил?»
— «Да с шестерку, господарь, побил бы.»
— «Просто дрянь ты, баба! а я думал,
Что и вправду ты юнак удалый!
Пусть ударят два десятка бердян,
Да поможет мне святая вера,
Я один бы всех их обезглавил.
Знаешь, я чуть-чуть не впал в сомненье:
Я курил, а сам все время думал,
Что гроза забаве помешает,
Прокоптить нам не позволит влахов.

Знаю я, что ты певец искусный,
Я ж охоч до песенок под гусли –
Так запой, потешь меня, приятель!»

Встал Баук, снял с полки гусли
И, поджавши снова ноги,
Сел на прежнее он место;
И на мягкую подушку
Положил живые гусли.
Вправо, влево он смычком проводит;
Поправляет тонкую кобылку –
И вот звуки гуслей раздалися,
Зазвучал затем могучий голос,
И певец искусный и лукавый
Затянул под звуки гуслей песню:

«Правый Боже, что за чудный воин
Был Ризван-ага, владыко сильный!
Как искусно он владел оружьем,
Острой саблей и копьем булатным,
И ружьем, и лютым ятаганом,
И конем своим лихим, удалым!
Ага сходит на Босово поле,
Собирает он цареву подать,
Хочет он с души взять по дукату,
Со двора по жирному барану,
На ночь он добыть красотку хочет.
Собирает он цареву подать,
Злая рая платит и не платит.
Где с души он хочет по дукату,
Там не видит часто медной пары,
Хочет с дома жирного барана,
А возьмет – наперечет все ребра,
А где на ночь он красотку ищет,
Не находит и сморчка-старухи.
Запирает ага злую раю,
А потом ее выводит в поле,
В поле ставит он ее рядами,
На коне через нее он скачет:
Первый ряд перескочил удачно,
И другой перескочил удачно,
А когда хотел скакнуть чрез третий,
Дикий конь его встряхнулся диво,
Лишь скакнул он, лопнула подпруга,
Сильный ага на траву свалился.
И немного времени минуло,
А из уст в уста уже несется
Смелый шепот по Босову полю.
Чем он дальше, тем сильнее шепот;
После смех, потом насмешки рай,
А потом сложилась песнь под гусли –
И поют слепые на Босове:
«Просто дрянь был Ризван-ага сильный!»

Эта песнь еще звучала,
А уж каждый мог бы видеть,
Кто смотрел на Ченгич-агу,
Что в лице его виднелись
Боль, досада, злоба, ярость
И другие злые страсти,
И кровавыми когтями
Раздирали сердце аги
При язвительных намеках.

И кровавый пламень грозно вспыхнул
В гневном сердце против злобной раи,
Против влахов, христиан поганых,
Против тех собак нечистых, скверных,
Что живут в соседстве правоверных.

Цепи, яд, веревка, сабля,
Нож, котел с кипящим маслом,
Кол, огонь и сотни пыток
Вдруг припомнилися аге,
Чтоб изгладить след насмешек
И сберечь нетронутую славу,
Имя в песне под бряцанье гуслей.
Брови аги сдвинулись, как тучи,
Загорелись очи, словно пламя;
По лицу огонь зловещий бегал
И от гнева расширялись ноздри;
На устах, уж вспененных от злости,
Выраженье ада показалось.
И легко в нем каждый прочитал бы:
«Так скорей погибнет эта рая,
Чем меня погубит песня злая!»

Не успел Баук окончить песни,
Как у аги мысль уже мелькнула,
Что и тут свидетелем позора
Не одна лишь злая рая будет,
И что очи и уста не только
Рае злой даны природой щедрой:
Рая зла, а турки все лукавы:
Всех души — и не уронишь славы!

Эти злые помыслы злой ага
Хочет скрыть в душе своей лукавой —
И черты лица он укрощает;
Но на нем все ярче и виднее
Выступает пламя дикой злобы.
Хочет он казаться всем спокойным,
А меж тем дрожит он как осина.
Наконец, бессильный скрыть ту злобу,
Поднялся он в ярости и вскрикнул:
«Уж пора покончить с этой раей!
Палаши, ножи, огонь и колья!
Распустить сейчас все силы ада!
Я юнак, от песни жду я славы;
Для того задам им пир кровавый.»

Не успел домолвить ага,
Как раздался меткий выстрел
И затмил другое око
У Сафера, что всех прежде
Подскочил на голос аги;
Что от древка началося,
То окончилось от пули.
«Влахи!» всюду слышны крики.
В ту минуту часть дружины
Залп дала по всем палаткам.
«Влахи! влахи!» слышны крики.
«Гей, коня мне!» голос аги.
Тут другая часть дружины
Залп дала. «Повсюду влахи!
Ружья, ружья, ятаганы!
Гей, коня, Гассан, коня мне!»
Вот и третий залп раздался.
Уж Гассан коня выводит;
На коня садится ага;
Но сверкнула словно молнья —
И винтовочная пуля
Агу вновь свела на землю.
Ночь мрачна; не знаешь, чья та пуля,
Но вблизи стрелял в то время Мирко,
И во тьме порхнула без одежды
Та душа, без мира и надежды...

Ага пал; еще дерутся турки;
Но от всех сокрыто было мраком,
Что в борьбе геройство совершало.
Ничего не разберешь во мраке.
Лишь когда сверкнет огонь небесный,
Или вдруг мелькнет огонь ружейный —
Пред собой вдруг видит турок влаха
В двух шагах, меж тем как прежде думал,
Что стоит он от врага на выстрел.
И летят в железные объятья,
И звучат железные лобзанья,
И летят сцепившись наземь оба:
Такова кипит в душе их злоба.

Под покровом черной ночи
Ходит смерть, бросая след кровавый;
Очи смерти светятся как молньи,
И сквозь кости веет ветр холодный;
Словно гром гремит она: то «горе!»
То «медет!» то «помоги нам, Боже!»
И вздыхает, и хрипит, и стонет,
И берет то сербина, то турка,
Очи их смежая беспробудно.

Тут погиб советник аги, Муя,
Яшар злой, Гассан, Омер и тридцать
Мусульман из свиты Ченгич-аги;
Мрак ночной от смерти спас Баука
И других, бежавших с поля битвы.

Но кто там лежит на трупе аги?
Сам мертвец, да труп он скалит зубы.
Тот мертвец — Новица. Он Гассаном
Был убит в тот миг как в жажде мести
Подскочил к поверженному зверю,
Чтоб его добить и обезглавить.
Стих свинцовый град: пошел небесный —
И дружина скрылась под шатрами.
Ночь страшна, облита черной кровью,
Ночь темна... дружина же довольна:
На ночлеге новом ей привольно.

1. Предлагаемый рассказ имеет историческую основу: Измаил-ага Чеогич *[*Ченгич*]* был убит дружиной дробняков и черногорцев в 1840 году. Потомки его и теперь живут в Сараеве.
2. Берданами называют жителей гор в северо-восточной части Черногории, которая и называется Брда. — Река Морача, отличающаяся низкою температурой воды, впадает в Скадрское озеро.
3. Влахом турок называет каждого христианина в Босне, Герцеговине и Черногории.
4. Аман — помилуй, турецкое слово. Медет — то же, что и аман.
5. Струка — плед из грубой шерстяной материи.
6. Опанки — обувь черногорцев из цельного лоскута белой кожи, нечто в роде башмаков.
7. Токи — тесные ряды серебряных или медных пуговиц, нашитые впереди на куртке, надеваемой сверху.
8. Гацкое поле находится в Герцеговине, на северо-запад от Черногорья.
9. Фелеки — орудие, которым сдерживаются ноги при известном наказании по пятам.
10. Липовый человек, липовый христианин — слабый, недеятельный славянин на языке турка.